





ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА

*Ганс Христиан*  
**АНДЕРСЕН**

*Сказка моей жизни*

Повесть

Москва



2019

УДК 821.113.4-94  
ББК 84(4Дан)-44  
А65

Перевод с датского *А. и П. Ганзен*

Оформление серии *Н. Ярусовой*

**Андерсен, Ганс Христиан.**

А65 Сказка моей жизни / Ганс Христиан Андерсен ; [пер. с датск. А. Ганзен, П. Ганзен]. — Москва : Эксмо, 2019. — 416 с. — (Всемирная литература).

ISBN 978-5-04-104596-8

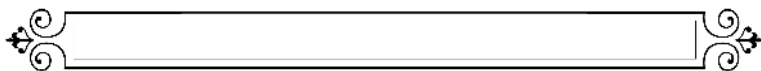
Великий автор самых трогательных и чарующих сказок в мировой литературе — Ганс Христиан Андерсен — самую главную из них назвал «Сказка моей жизни». В ней нет ни злых ведьм, ни добрых фей, ни чудесных подарков фортуны. Ее герой странствует по миру и из эпохи в эпоху не в волшебных калошах и не в роскошных каретах. Но источником его вдохновения как раз и стали его бесконечные скитания и встречи с разными людьми того времени. «Как горец вырубает ступеньки в скале, так и я медленно, кропотливым трудом завоевал себе место в литературе», — под старость лет признавал Андерсен. И писатель ушел из жизни, обласканный своим народом и всеми, кто прочитал хотя бы одну историю, сочиненную великим Сказочником.

Со всей искренностью Андерсен неоднократно повторял, что жизнь его в самом деле сказка, богатая удивительными событиями. Написанная автобиография это подтверждает — пленительно описав свое детство, он повествует о достижении, несмотря на нищету и страдания, той великой цели, которую перед собой поставил.

УДК 821.113.4-94  
ББК 84(4Дан)-44

ISBN 978-5-04-104596-8

© Издание на русском языке, оформление.  
ООО «Издательство «Эксмо», 2019



## I

«Вот сказка моей жизни. Рассказал я ее здесь откровенно и чистосердечно, как бы в кружке близких друзей»<sup>1</sup>.

**Ж**изнь моя настоящая сказка, богатая событиями, прекрасная! Если бы в ту пору, когда я бедным беспомощным ребенком пустился по белу свету, меня встретила на пути могущественная фея и сказала мне: «Избери себе путь и цель жизни, и я, согласно с твоими дарованиями и по мере разумной возможности, буду охранять и направлять тебя!» — и тогда жизнь моя не сложилась бы лучше, счастливее, разумнее. История моей жизни скажет всем людям то же, что говорит мне: Господь Бог все направляет к лучшему.

В 1805 году в городе Оденсе, в бедной каморке, проживала молодая чета — муж и жена, бесконечно любившие друг друга. Это был молодой двадцатидвухлетний башмачник, богато одаренная поэтическая натура, и его жена, несколькими годами старше, не знающая ни жизни, ни света, но с редким сердцем. Муж только недавно вышел в мастера и собственными руками сколотил всю обстановку своей мастерской и супружескую кровать. На эту кровать пошел деревянный помост, на котором незадолго перед тем стоял во время печальной церемонии гроб с останками графа Трампе. Уцелевшие на досках кровати полосы черного сукна еще напоминали о прежнем их назначении, но вместо графского тела, окутанного крепом и окруженного горящими свечами в подсвечниках, на этой постели лежал 2 апреля 1805 года живой плачущий ребенок — я, Ханс Кристиан Андерсен.

---

<sup>1</sup> Этими словами, поставленными нами эпитафией, А. заканчивает свою автобиографию. — *Здесь и далее примеч. перев.*

Отец мой просиживал первое время возле постели матери целые дни и читал ей вслух комедии Гольберга, а я в это время кричал благим матом. «Да усни же или хоть полежи смирно да послушай!» — в шутку обращался ко мне отец, но я и ухом не вел и долго оставался таким неугомонным крикуном. Таким же заявил я себя и в церкви во время крещения, так что священник, вообще аттестуемый моей матерью пресердитым господином, сказал: «Мальчишка орет, как кот!» Этих слов матушка не забыла ему всю жизнь! Бедняк, французский эмигрант Гомар, бывший моим крестным отцом, утешал матушку, говоря, что чем громче я кричу ребенком, тем лучше буду петь, когда вырасту.

Детство мое протекло в маленькой каморке, заставленной верстаками, инструментами и разными приспособлениями для башмачного ремесла, кроватью и раздвижной скамьей, служившей мне кроватью. Да, тесно у нас было! Зато все стены были увешаны картинками, на сундуке стояли расписные фарфоровые чашки, стаканы и разные безделушки, а над верстаком у окна висела полка с книгами. В крошечной кухоньке стоял шкаф, а над ним находилась полка, на которой красовалась оловянная посуда. И это тесное помещение казалось мне тогда большим и роскошным, а дверь с намалеванным на ней пейзажем имела в моих глазах такое же значение, как теперь целая картинная галерея.

Из кухни был ход на чердак; под окном чердака, на водосточном желобе, проходившем между нашим и соседним домом, стоял ящик с землей; в нем росли лук и петрушка; это был огород моей матери. Он и теперь еще цветет в моей сказке «Снежная королева».

Я рос единственным, а потому балованным ребенком. Зато мне часто и приходилось выслушивать от моей матери напоминания о том, какой я счастливый ребенок: мне жилось куда лучше, чем в детстве ей самой; мне-то жилось, что твоему графчику, а ее, когда она была маленькой, родители выгоняли из дому просить милостыню; она не могла решиться на это и целые дни просиживала в слезах под мостом у реки. Я живо рисовал себе эту картину и заливался горь-

кими слезами. Старая Доменика в «Импровизаторе» и мать скрипача в романе «Только скрипач» — два образа, в которых я старался изобразить свою мать.

Отец мой, Ганс Андерсен, предоставлял мне во всем полную свободу; я был для него всем в жизни, он жил только для меня! Все свое свободное время он посвящал мне — делал игрушки, рисовал картинки, а по вечерам часто читал нам с матерью басни Лафонтена, комедии Гольберга и «Тысячу и одну ночь». И только во время чтения я замечал на его лице улыбку — в жизни вообще и в ремесле ему не везло.

Родители его были зажиточными крестьянами, но вдруг на них посыпались несчастья одно за другим: начал падать скот, сгорел дом, а потом сам отец помешался. Тогда мать переехала с ним в Оденсе и поместила сына в ученье к башмачнику — нужда заставила, а между тем способный мальчик сгорал желанием поступить в гимназию. Несколько доброжелательных граждан Оденсе собирались было сделать складчину и помочь ему пойти желанным путем, но дело так на одних разговорах и остановилось; бедному моему отцу пришлось отказаться от заветной мечты, и он не мог примириться с этим всю свою жизнь. Помню, ребенком я раз увидел на его глазах слезы: к нам зашел, чтобы заказать сапоги, один гимназист и, разговорившись, показал отцу свои книги и сказал, чему он учится. «И мне бы следовало пойти по этой дороге!» — сказал мне отец по уходе гимназиста, горячо поцеловал меня и весь вечер был как-то особенно задумчив и тих.

Он редко встречался с товарищами по ремеслу; все его родственники и знакомые приходили к нам, а сам он больше сидел дома. Зимними вечерами он, как уже сказано, читал нам вслух или мастерил для меня какую-нибудь игрушку, летом же почти каждое воскресенье отправлялся со мною в лес; во время прогулки он не бывал особенно разговорчив, мечтательно сидел себе где-нибудь под кустиком, я же бегал вокруг, собирал землянику и нанизывал ее на соломинки или плел венки. Матушка сопровождала нас в лес всего раз в год, в мае, когда лес одевался первой зеленью. Это была ее ежегодная и единственная увеселительная прогулка, и она

всегда для такого случая надевала свое парадное, коричневое с цветочками, ситцевое платье. Только в этот день да еще идя к причастию она и надевала его, и я видел его на ней в эти дни в продолжение многих лет. Матушка всегда приносила с собой с прогулки свежих березовых ветвей и затыкала их за печку. Весело смотрелась наша комнатка, убранная зеленью, украшенная картинками; матушка держала ее в безукоризненной чистоте; белые, как снег, простыни и коротенькие оконные занавески были ее гордостью.

Одно из первых моих воспоминаний, само по себе неважное, но имеющее для меня значение благодаря той силе, с какой оно запечатлелось в моей детской душе, воспоминание о пирушке, и, как бы вы думали, где? В Оденсе есть здание, на которое я всегда взирал с такой же жуткою боязнью, с какой, полагаю, смотрели парижские мальчики на Бастилию, — смиренный дом. Родители мои вели знакомство с привратником этого дома, вот он раз и пригласил их на какой-то семейный праздник. Меня тоже взяли в гости, а я тогда был еще так мал, что домой меня, как увидите после, пришлось нести на руках. Смиренный дом был для меня в те времена обиталищем сказочных воров и разбойников, и я частенько стоял перед ним, на почтительном, конечно, расстоянии, прислушиваясь к пению мужчин и женщин и стуку ткацких станков.

Вот мы и стояли перед этим домом; огромные железные ворота открылись и закрылись опять; с визгом повернулся ржавый ключ в замке, и мы стали подниматься вверх по крутой лестнице. Угощали нас в гостях на славу, но за столом прислуживали два арестанта, и я не мог притронуться ни к чему, даже лакомства отталкивал прочь. Матушка сказала, что я, верно, болен, и меня уложили в постель. В ушах у меня все продолжали раздаваться песни арестантов и стук челноков. Было ли это в действительности или только чудилось мне, я не знаю, но знаю, что мне было и жутко и приятно; я как будто попал в сказочный разбойничий замок. Поздно вечером отправились мы домой; меня несли на руках. Погода была холодная, дождь так и хлестал мне в лицо.

Город Оденсе был в пору моего раннего детства совсем не похож на нынешний, опередивший Копенгаген газовым освещением, водопроводами и еще бог весть чем. В то время жители Оденсе отставали от столичных во всем чуть ли не на сто лет. У нас еще держалась масса разных обычаев, которые давным-давно повывелись в столице. В цеховые праздники все мастера и подмастерья шли в торжественной процессии с развевающимися знаменами, украшенные лентами, и проч. Впереди бежал, выкидывая разные штуки, увешанный бубенчиками арлекин. Один из этих забавников, Ханс Стру, пользовался особенным успехом за свои выходки и лицо, все вымазанное сажей, за исключением носа, сохранявшего привычный красно-багровый цвет. Матушка была от Ханса Стру в таком восторге, что пыталась даже откопать какие-то родственные связи с ним, хотя бы и самые дальние. Я же, как теперь помню, горячо восставал против родственника-шута.

В понедельник на Масленице мясники водили по улицам разубранного цветами жирного быка, на котором восседал верхом мальчик в белой рубашке и с крылышками за плечами. Всю Масленицу гуляли также по улицам матросы с музыкой и флагами; гулянье заканчивалось обыкновенно борьбой двух забубённых молодцов на доске, перекинутой с одной лодки на другую; кому удавалось удержаться на доске, тот и считался победителем. Особенно же ярко запечатлелось у меня в памяти пребывание в 1808 году в Оденсе испанских солдат. Дания заключила союз с Наполеоном, Швеция же объявила ему войну, и, прежде чем кто-либо успел опомниться, французские и вспомогательные испанские войска наводнили всю Фионию, откуда намеревались под начальством маршала Бернадотта переправиться в Швецию. Мне тогда было всего три года, но я так живо помню этих смуглых людей, шумевших на улицах, пушки, расставленные на площади и перед домом епископа. Я видел, как эти чужеземные солдаты валялись на тротуарах и на разостланной соломе внутри полуразрушенного монастыря «Серых братьев». Замок Кольдинг сгорел, и маршал Бернадотт прибыл в Оденсе, где находились его супруга и сын Оскар.

По всей стране школы были превращены в сторожевые пикеты; под сенью деревьев на поле и у дорог служились обедни. О французских солдатах все отзывались нехорошо: заносчивые, грубые; испанских, напротив, называли людьми добродушными и ласковыми; те и другие относились друг к другу враждебно; наши симпатии были на стороне бедных испанцев. Однажды один солдат-испанец взял меня на руки и дал мне поцеловать серебряный образок, висевший у него на шее. Я помню, как рассердилась на него матушка за такую «католическую штуку», как она выразилась. Мне же и образок, и сам солдат очень понравились. Он плясал со мной, целовал меня и плакал, — верно, у него самого остались на родине дети. Потом я видел, как одного из его товарищей вели на казнь: он убил солдата-француза. Много лет спустя я вспомнил об этом и написал стихотворение «Солдат». Шамиссо перевел его на немецкий язык, и оно сделалось весьма популярной песней, которая даже вошла в сборник солдатских песен как оригинальная немецкая.

Так же живо, как испанцев, помню я событие, случившееся, когда мне минуло шесть лет, — появление кометы в 1811 году. Матушка сказала мне, что комета столкнется с Землей и разобьет ее вдребезги или что случится какая-нибудь другая ужасная вещь, о каких говорится в пророчествах Сивиллы. Я прислушивался ко всем суеверным разговорам вокруг, и суеверие пустило в моей душе такие же крепкие корни, как и настоящая вера. Смотреть комету мы с матушкой и несколькими соседками вышли на площадь перед кладбищем Св. Кнуда. На небе сияло страшное огненное ядро кометы с большим сияющим хвостом, и все говорили о дурном предзнаменовании и о светопреставлении. К нам присоединился отец; он оказался совсем иного мнения о комете и, вероятно, дал какое-нибудь разумное истолкование ее появления, но матушка завздыхала, а соседки принялись качать головами; отец засмеялся и ушел. Мне стало страшно за него: он не разделял наших верований! Вечером матушка разговаривала о комете со старухой-бабушкой; не знаю, как истолковывала появление кометы бабушка, но знаю, что я, сидя у нее на коленях и глядя в ее ласковые глаза, с мину-

ты на минуту ждал, что вот-вот комета ударится об Землю и наступит светопреставление.

Бабушка забегала к нам каждый день хоть на минутку, чтобы поглядеть на своего любимца-внучка Ханса Кристиана. Она была худощавая, тихая и кроткая старушка с голубыми глазами. Тяжелая выпала ей в жизни доля. Когда-то она была женой богатого крестьянина, жила в довольстве, а теперь еле перебивалась, живя со своим слабоумным мужем в крошечном домике, купленном на последние остатки их состояния. И все же я никогда не видел, чтобы бабушка плакала; зато тем тяжелее отзывались у меня в сердце ее тихие скорбные вздохи и рассказы о ее бабушке с материнской стороны. Та была уроженкой большого немецкого города Касселя и принадлежала к богатому благородному семейству, да вышла замуж за комедианта и бросила ради него и родных и родину. Я никогда не слышал от бабушки фамилии этой дамы, но сама-то бабушка носила в девицах фамилию Номмесен. Старушке был поручен уход за садиком при городской больнице, и она всегда приносила мне оттуда по субботам букетик цветов; цветы украшали наш сундук и считались моими; мне позволялось самому ставить их в стакан с водою; то-то была радость! Бабушка вообще часто приносила мне что-нибудь, баловала меня, любила без памяти — я знал это, чувствовал.

Два раза в год бабушка жгла сухие листья и другой сор из сада; жгла она их в большой больничной печи. Эти дни я почти всегда проводил подле бабушки, валялся в кучах сухой зелени и гороховых стеблей, играл с цветами и — чему придавал наибольшую цену — получал обед куда, как мне казалось, вкуснее домашнего. Тихие слабоумные, содержащиеся в больнице, разгуливали на свободе по двору и по саду, и я с трепетным любопытством прислушивался к их речам и пению, а часто даже отваживался пойти за ними в сад. Случалось, что я забирался в сопровождении сторожей и вовнутрь здания, где содержались буйные помешанные. Двери отдельных келий выходили в длинный коридор; вот в коридоре-то я раз и сидел на корточках, подглядывая в дверную щелочку одной из келий. В ней на куче соломы

сидела голая женщина с длинными распущенными волосами и пела. Голос был чудный! Вдруг она вскочила и с визгом кинулась к двери, перед которой я сидел. Сторож куда-то ушел, я был один. Она с такой силой ударила в дверь, что маленькая форточка в двери, через которую безумной подавали обед, распахнулась; женщина выглянула в нее, увидала меня и протянула руки, чтобы схватить меня. Я в ужасе закричал и прижался к полу. Никогда не изгладилось из моей души воспоминание о том ужасе, который я испытал, чувствуя прикосновение ее пальцев к моей одежде. Когда вернулся сторож, он нашел меня полумертвым от страха.

Недалеко от пивоварни, где в печке жгли сухие листья и прочий сор, была мастерская для бедных старух, занимавшихся пряжей. Я часто заходил туда и скоро сделался любимцем старух за свое красноречие, служившее, однако, по их мнению, верной приметой моей недолговечности. «Такой умный ребенок не заживется на свете!» — говорили они, и это мне очень льстило. Я как-то случайно слышал о том, как точно знают доктора внутреннее устройство человека, слышал, что у нас внутри есть сердце, легкие, кишки, и мне было довольно, чтобы немедленно прочесть по этому поводу моим старухам целую лекцию. Я смело начертил мелом на двери какие-то вавилоны, которые должны были изображать внутренности, и стал нести что-то о сердце и о почках. Все, что я говорил, производило на почтенное собрание глубочайшее впечатление. Я прослыл необыкновенно умным ребенком, и наградой за мою болтовню служили мне со стороны старух сказки. Передо мной развернулся целый сказочный мир, не уступавший по богатству тому, что рисуется нам в «Тысяче и одной ночи». Эти сказки и частые столкновения с умалишенными до такой степени повлияли на меня, и без того уже зараженного суеверием, что я в сумерках едва осмеливался высунуть нос за порог дома. Обыкновенно мне и позволяли ложиться в постель, как только садилось солнышко, конечно, не на мою собственную кровать, на раскладной скамье-сундуке — тогда нельзя было бы повернуться в комнате, — а на кровать родителей. Я лежал там за ситцевым пологом, сквозь который просвечивал огонь свеч-

ки, слышал все, что творилось в комнате, и в то же время так уходил в собственный внутренний мир грез и фантазий, что внешний как будто совсем переставал существовать для меня. «Чудесный мальчуган! Лежит себе смиренхонько! — говаривала матушка. — Никому-то не мешает, да и сам беды там не натворит».

Слабоумного дедушки я страх как боялся; он говорил со мной всего один раз и очень удивил меня своим обращением ко мне на «вы». Он вырезал из дерева разные причудливые фигурки: людей со звериными головами, животных с крыльями и диковинных птиц, укладывал их в корзинку и ходил по окрестностям, раздавая игрушки деревенским детям и женщинам. Те, в свою очередь, угощали его и отдаривали крупой, ветчиной и пр. Раз, когда он только что вернулся с такой прогулки в город, я услышал, как глумились над ним бежавшие за ним толпою уличные мальчишки. Я в ужасе забился под лестницу и сидел там, пока они не пробежали мимо. Я знал, что был плотью от плоти и кровью от крови этого слабоумного.

Я почти никогда не сходиллся со своими сверстниками и даже не принимал участия в играх школьников во время перемен, оставаясь в классной. Дома у меня в игрушках недостатка не было. Чего-чего не наделал мне отец! Были у меня и картинки с превращениями, идвигающиеся мельницы, и панорамы, и кивающие головами куклы. Любимейшей моей игрой было шить куклам наряды или сидеть во дворе под единственным кустом крыжовника, который с помощью передника матушки, повешенного на метлу, изображал мою палатку, убежище в солнце и в дождь. Там я сидел и смотрел на листья крыжовника, которые росли и развивались день за днем на моих глазах — маленькие, зелененькие почки становились под конец большими сухими желтыми листьями и опадали. Вообще я был большим мечтателем и, гуляя, часто даже закрывал глаза. Под конец все стали думать, что у меня слабое зрение, а как раз наоборот, оно всегда было у меня очень острое.

Азбуке, складам и чтению я учился в школе, которую содержала одна ученая старуха. Она обыкновенно сиде-

ла в кресле под часами, которые во время боя показывали разные фигуры и кунштюки. Под руками у нее всегда лежали розги, частенько-таки разгуливавшие по плечам детей, между которыми преобладали маленькие девочки. Обучение велось по-старинному: все мы хором громко и нараспев твердили склады. Меня учительница сечь не смела — с таким уговором отдала меня в школу матушка, и, когда раз мне все-таки попало, я сейчас же собрал свои книги и, не говоря ни слова, ушел домой к матери. Пожаловавшись ей, я потребовал, чтобы меня отдали в другую школу, что и было исполнено.

Матушка поместила меня в школу для мальчиков господина Карстенса, в которой, однако, находилась и одна девочка, совсем маленькая, хотя все-таки постарше меня. Мы с ней живо сдружились. Она постоянно говорила о полезном и необходимом, о том, что надо поступить на хорошее место и что ходит в школу она главным образом для того, чтобы научиться хорошенько считать. Мать сказала ей, что тогда она может попасть в экономки на большую ферму. «Я возьму тебя к себе в свой замок, когда сделаюсь вельможей!» — сказал ей в ответ на это я, но она засмеялась и напомнила мне, что я бедный мальчик. Раз я нарисовал что-то вроде замка, назвал его своим замком и стал уверять свою подругу, что меня подменили малюткой, что я знатный ребенок и что ко мне часто являются даже сами ангелы Божии и разговаривают со мной. Я хотел поразить и ее, как поражал старух в госпитале, но на нее мои рассказы подействовали совсем иначе. Она вытаращилась на меня, а потом сказала другим мальчикам, стоявшим возле: «И у него голова не в порядке, как у его дедушки!» У меня даже мурашки по спине забегали. Я-то старался, рассказывал, желая прослыть в их мнении чем-то необыкновенным, а вышло, что меня сочли за помещанного, как мой дед! С тех пор я и не заговаривал с девочкой ни о чем подобном; впрочем, мы с тех пор и перестали быть такими друзьями, как прежде. Я был в школе самым младшим, поэтому, когда другие мальчишки играли, учитель, господин Карстенс, водил меня по двору за руку, чтобы меня не сбили с ног. Он очень любил меня, часто угощал пи-

рожными, ласкал, дарил мне цветы и раз даже простил ради меня провинившегося ученика. Один из больших мальчиков не знал урока и был за это поставлен с книгой на стол, вокруг которого сидели мы все; я был неутешен, мне было жаль наказанного, и учитель помиловал его. Милый добрый мой учитель сделался впоследствии начальником телеграфной станции в Торсенге. Он был еще жив несколько лет тому назад, и мне рассказывали, что старик часто говаривал посетителям: «Да, да, вы, пожалуй, не поверите, что я, бедный старик, был первым учителем одного из наших популярнейших писателей! У меня в школе учился Ханс Кристиан Андерсен!»

Осенью матушка иногда ходила по полям и, как библейская Руфь, собирала оставшиеся после жатвы колосья. Я обыкновенно сопутствовал ей. Раз мы забрели в поле барского имения, где был очень злой и жестокий управляющий. Вдруг мы увидали его с огромным кнутом в руках! Матушка и все другие бросились бежать, я тоже, но скоро потерял с голых ног деревянные башмаки, сухие жесткие ожинки стали колоть мне ноги, и я отстал от других. Управляющий уже замахнулся на меня кнутом, но я взглянул ему прямо в глаза и невольно сказал: «Как же ты смеешь бить меня — ведь Господь видит тебя!» И суровый человек сразу смягчился, потрепал меня по щеке, спросил, как меня зовут, и дал мне денег. Я показал их матушке, и она сказала другим: «Что за ребенок мой Ханс Кристиан! Все-то его любят, даже злой управляющий дает ему денег!»

Я рос благочестивым и суеверным ребенком; о нужде я не имел и понятия, хотя мои родители и перебивались, как говорится, с хлеба на квас; мне же казалось, что мы живем в полном достатке. Даже одевали меня хорошо. Какая-то старуха постоянно перешивала для меня старое платье моего отца; три-четыре шелковых лоскутка, хранившихся у матери, служили мне жилетами — их скрещивали на груди и закалывали булавкой, — на шею надевался еще большой шарф, завязывавшийся огромным бантом; голова, лицо и руки всегда были чисто вымыты с мылом, а волосы расчесаны с пробором — щеголь, да и только!